

10 рассказов об отце

Огурчик

— Скушай соленый огурчик! Ну, пожалуйста, скушай соленый огурчик!
И все это на фоне оперного театра с душераздирающими руладами из тысячи сверкающих окон.

Дался ему этот огурчик, откуда он его хочет достать — из кармана? Нет, из кармана он достает много бумажек, скомканных, надорванных бумажек, и среди них — целая, но тоже скомканная — билет, билет в театр.

- Скушай соленый огурчик, пожалуйста!
- Дался тебе этот огурчик! Где я его должен съесть — здесь или дома?
- Где хочешь! Он вкусный и не очень соленый, малосоленный, ты любишь.
- Хорошо, я приду и съем.
- Почему не сейчас?

Честное слово, никакого огурчика я не вижу, хочу, пытаюсь увидеть, но не вижу. Кажется, он сам жует что-то — мороженое?

- Он прибавит тебе аппетит, ты плохо ешь.

Как объяснить ему, что я не хочу быть толстым, мне не поможет соленый огурчик.

- Зачем много есть, папа?
- Чтобы жить! Я хочу, чтобы ты жил!

Я тоже хочу, здесь наши желания совпадают. И тогда мы пойдем, хрустя огурчиками, на балет. И на базар — за огурчиком. Театр дышит черной массой, а из окон — рулады, рулады.

- Как ты достал билет, папа?
- Да, я достал, ты же меня просил, на этот самый, как его... ну там еще ничего не говорят... ну же... я забыл, как это называется!

- Балет, папа.
- А черт его знает, пусть называется как хочет. Директор нашего театра — мой хороший знакомый. Так ты категорически отказываешься съесть?
- Ты издеваешься надо мной, папа?
- Я? Пусть все так издеваются над тобой, я принес тебе билет, ты просил, его невозможно было достать, а ты говоришь, издеваешься!

"Все хорошо, — думаю я. — И море, и бульвар, и вот эти девушки, высекающие из булыжников искры, спускаясь к бульвару, все хорошо".

— Скушай соленый огурчик, пожалуйста, что тебе стоит?

И я ем. На самом деле, как отказать любимому человеку, он принес мне билет на этот... как его... на что и сам не знает, и если он просит о такой мелочи, почему не съесть?

Но, Боже мой, я не помню, я не вижу никакого соленого огурчика, дается ему этот соленый огурчик. Хорошо, я съем.

Голубое утро кувырывается перед театром, или это рябит у меня в глазах море, солнце, все сразу, вместе, или я слишком напряженно вслушиваюсь в зауспокойное пение из окон?

— Не понимаю, что ты нашел в этом, как ты его называешь... балете? Могли спокойно посидеть, ты рассказал бы мне про свои дела.

— Я еще успею рассказать тебе, папа.

— Ты всегда говоришь — успею, успею, а я ничего не знаю про тебя.

Ему жарко, он вытирает лысую голову носовым платком.

— Тебе понравился огурчик?

Боже мой, ну конечно же огурчик, я никак не начну его есть, где же он? Такой хрустящий, совсем малосольный.

— Спасибо, папа.

— Правда, вкусный? Меня самого только что угостили. Хочешь, я принесу тебе много, целую банку? Ты будешь есть по утрам. Не каждый же день ты прилетаешь домой.

— А то пойдем со мной на балет, папа?

— Боже упаси! Чего я там не видел? На этот... как его... где поют, я бы еще пошел, а здесь я ничего не понимаю.

— А ты просто смотри, папа.

— На что смотреть? На них жалко смотреть — одни кожа да кости. Что ты смеешься? Старый дурак, да?

— Оба дураки. Что старый, что молодой.

— А то пойдем домой, поговорим...

— Я скушаю соленый огурчик...

— А почему бы и нет? Тебе не понравилось?

Он так тревожно спрашивает, а я не помню, я не помню никакого соленого огурчика, не могу вспомнить, театр, рулады, море, девушки, а огурчика нет, могу поклясться.

— Очень вкусно, спасибо, папа.

— Красивый город, — говорит он и оглядывает свое хозяйство, он живет здесь давно, и весь город, море, порт, театр — его хозяйство. — Правда, красивый? Тебе нравится?

— Я здесь родился, папа.

— Кому ты об этом рассказываешь? — всхлипывает он и тянется за платком, скомканным, не очень свежим носовым платком.

— Пойдем, я провожу тебя, до начала есть еще время, — говорю я, и мы идем, он проходит рядом со мной несколько шагов, а потом мы расстаемся, он никогда не оглядывается, прощаясь, не машет рукой, это я смотрю ему вслед, а он идет быстро-быстро, так быстро, что я, как ни вглядываюсь, как ни вглядываюсь...

Тогда я возвращаюсь к театру, сажусь на скамью и начинаю есть огурчик, вкусный огурчик, совсем малосольный, совсем.

Сикирамотере-трам-та-рам-та

Мне приснился отец. И тут я понял, что все неправильно, что все живы, и первыми догадываются о бессмертии псы, проснувшиеся раньше меня.

— Что ты там поешь, ну-ка, ну-ка!

— А-а-а, ерунда.

— Нет. Ты пой!

Он начал снова:

— Сикирамо...

— Как?!

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

— Как? — хохочу я. — Сикира...

— Сикирамотере-трам-та-рам-та.

Он тоже смеется и одновременно готов обидеться.

— Да ну тебя! Сам заставил.

Он так застенчиво смеется!

— Как это мило! — говорю я. — Научи.

— Не буду.

— Ну, пожалуйста!

— Хорошо, хорошо, только не смей больше смеяться. Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-рам-та.

— И это все? А дальше?

— Это все.

— Какая длинная песня!

— Меня научила ей твоя бабушка. Она сидела в кресле после удара и все время молчала, а потом я подслушал про сикирамотере.

— И ты не спросил ее, что дальше?

- Нет, она спела только это.
- А ты не спросил, кто научил ее это петь?
- Не приставай, пожалуйста.
- Тогда спой еще раз.
- Не делай меня сумасшедшим.
- Не буду делать. Спой.

И он поет. Странно. Он поет. Я слышу его голос. Он поет, как учила его бабушка: "Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та трам-та-рам-та... Сикирамотере-трам-та-рам-та трам-та-рам-та-та...".

И больше я не слышу ничего.

Кто первый?

Скрипит кровать. Это он так готовится. Затаился. Прислушивается к моему дыханию. Нет, улегся. Боится встать. Меня боится. И правильно. Я приехал на каникулы. Даст он мне выспаться хоть один раз? Угомонился, кажется.

Пять утра. И так каждое утро, каждое утро. Комната маленькая. Между раскладушкой и родительской кроватью только стол, квадратный полированный стол. Я могу видеть их кровать из-под стола. Но мне не надо смотреть, я знаю — лежит, думает, прижав костяшки пальцев к губам. Лысая голова на подушке. Мыслитель! Затылком к нему — мама.

Пять десять. Неужели даст доспать? В кои веки я дома. Я до-сы-паю... Скрип. Надо опередить, опередить. Трудно. Силы покинули меня.

Спускается на пол левая его нога, нащупывает тапочек, скоро очередь правой. С ней посложней — не задеть маму. Сейчас, сейчас.

Сейчас он опустит обе ноги — и тогда... Что — тогда? Тогда будет поздно. Он вскакивает проворно, будто проверяет прочность ног, прижимает к глазам будильник. Что же он разглядывает? Двадцать пять шестого. Я определяю не глядя. Боже мой, каждое утро, с ума можно сойти.

Теперь он попытается выйти из комнаты, не задев по пути мебель.

Ему это удастся. Но дверь в кухню необходимо прикрыть. А она скрипит. Скрипит дверь. Под этот скрип мама и я, мы лежим по-разному. Я — затаясь, она — раздраженно жмурясь. Ей вставать в семь.

Половина шестого. Я должен, должен, не для того я приехал домой, чтобы мой старик... Сейчас, сейчас, еще минуточку, ну, пожалуйста.

Теперь дверь в коридор, она без скрипа, вылезает из петли туалетный крючок, можно еще полежать чуть-чуть, но быть на стреме, быть на стреме! В туалете он не задержится.

Так и есть — застучал по коридору. Теперь — лови. Каждая минута до рога. Тридцать пять шестого.

Я вскакиваю, задеваю виском угол стола. Больно, но некогда. Где брюки, куда он сложил мои брюки? Недовольно вертится мама. Но молчит. Ей встать в семь.

Что он там делает в коридоре? Почему тишина? Не успею, неужели я не успею, он должен был вернуться за чайником. Да, но какой может быть чайник, если я с вечера не набрал воды? Который час? Еще тридцать минут, еще целых тридцать минут во дворе из крана будет течь вода. Потом ее выключат до вечера, лето, но еще целых тридцать минут мы полуодетые, полусонные выстраиваемся во дворе внизу у крана с пустыми ведрами в руках. Очередь, слава Богу, очередь, конечно же, я успею.

Нахожу брюки, застегиваю сандалии, натягиваю майку. Прохожу мимо спящей мамы, оттуда — в коридор.

Тишина. Какая-то паутинная тишина — с велосипедами на стенах, с паучками в тени коридора.

Сосед-астматик зашелся в кашле, скрипят половицы, шуршит чердак надо мной. Мы на третьем этаже, высоко, черный ход, крутая лестница, над нами только чердак, он всегда шуршит, будто оползает. Кто там — коты?

Надо торопиться — вода в это время идет быстро, бьет струя в ведро, очередь подходит. Я тороплюсь. Застегиваю ширинку, спускаю бачок. Выхожу на кухню взять ведро. Никого. Тишина. Один только чайник собирается начать кипеть.

И стоят два больших жестяных ведра, наполненные до края.

Индийская музыка

Как мы искали эту волну! Вместе. Вырывая приемничек друг у друга. У него не хватало терпения дожидаться, пока я найду.

— Дай, я сам!

— Возьми себя в руки, папа.

— Дай сюда. Мама права — ты ничего не умеешь!

И не находил. Кидался по шкале из стороны в сторону и не находил.

— Где она есть?

— Папа, дай мне.

— Ну на, на.

А потом сидел рядом, сложив руки на коленях, и ждал.

— Конечно, ты же умней меня!

— Не торопи, папа. Возможно, у них перерыв.

— Перерыв?!

Этого он не мог перенести. Они должны были петь, они должны были петь для него, и петь тоненькими, почти девичьими умильными головами: "Мульмулькинадек мульмульки мульмулькинадек мульмульки а-а-а-а-а".

И тогда он расцветал, глаза его светились, он был доволен, представляете, доволен, спокоен, представляете, спокоен!

Вот что с ним делала индийская музыка!

Рукой он вертел в воздухе, как куколкой, в разные стороны, куколка танцевала, куколка подпевала той, что по радио.

Хвала тебе, индийская музыка, негромкая, нежная индийская музыка, несколько мгновений покоя, звучи, звучи.

Мы сидим и слушаем индийскую музыку, а потом приходит мама и говорит, что мы бездельники.

Ты мне не сын

Он улыбается ей, улыбается, а потом, когда мы отходим...

— Ты что, в самом деле вздумал это сделать?

— Что?

— Жениться!

— Конечно, папа.

— Ты негодяй! В кого ты такой негодяй? Мы с мамой порядочные люди. Ты ее видел?

— Кого?

— Ну эту девочку, на которой собираешься жениться?

— Что ты говоришь, папа? Мы только что...

— А если видел, то как ты мог? Она ребенок, посмотри, какой она ребенок, ей можно дать десять лет. Сколько ей лет?

— Девятнадцать.

— Не может быть, ей не больше четырнадцати, тебя обманули. Ты посмотри на нее, она крохотулька, совсем крошечка, вот такая...

Он показал — размером с ноготок.

— Что ты будешь делать с ней? То же, что со всеми твоими бабами? Как ты будешь смотреть этому детенышу в глаза, ты видел ее глаза?

— Что ты хочешь, папа?

— Я хочу, чтобы ты взял свое предложение назад. Если ты, конечно,

не законченный мерзавец. Если ты этого не сделаешь, знай, я тебя прокляну, ты мне больше не сын, слышишь, ты мне больше не сын!

Я сделал это. Мы поженились. Он привык, хотя и смотрел на нее с состраданием. Через несколько лет я полюбил другую.

— Что, ты хочешь опять жениться? Тебе мало одной трагедии, нужно еще?

— Я люблю ее, папа.

— Ты всех любишь, ты у нас уродился таким любвеобильным, никак не пойму, в кого ты уродился? Ты понимаешь, что изуродовал жизнь человеку, понимаешь?

— Понимаю.

— А теперь ты лезешь в петлю, ты ее видел? Ты ее хорошо рассмотрел?

— Кого?

— Твою новую. Ты видел, что она красавица?

— Тебе правда понравилась?

— Мне — не страшно. Она всем понравится — вот что страшно. И тогда тебе — конец, с ней не пройдут те номера, что с этой. Ты видел, какие у нее глаза?

— Конечно, папа.

— Это с ума можно сойти! И тебе этого мало? Если ты женишься на ней, знай, я тебя прокляну, если ты женишься, мама пришлет на свадьбу телеграмму о моей смерти. Если ты женишься, ты мне больше не сын.

С той, второй, мы прожили больше двадцати лет. И счастливо.

Родили двух детей и разошлись. Отец умер. Я собираюсь жениться снова. Хорошо, я — не сын тебе, папа. Только живи.

После драки

Я всегда буду помнить, как мы бежали. Нет, сначала мы, конечно, победили, но потом бежали. О, как мы бежали по пустырям, мимо освещенных дач, вверх — вниз, вверх — вниз. Мы бежали, хотя за нами и не гнался никто. Но мы бежали, и я слышу разрывы его дыхания внутри.

Он молчит, только держит меня за руку и тянет за собой все быстрее, быстрее.

Мы бежали на дачу. Только что уехали оттуда и вот уже возвращаемся, даже бежим. Он — недовольный собой, я — торжествующий.

Я не помню, что хорошего он сделал, но что-то очень-очень хорошее. Если его спросить, он тоже не вспомнит, пусть знают враги, он — ураган, мой папа, его нельзя дразнить, иначе он сорвется, и тогда...

— Как ты его, папа? — говорю, заглядывая ему в лицо. — Пусть не задирается к старым людям, правда? Так ему и надо, правда?

Он молчит, не отвечает, мы бежим все быстрее, быстрее, пока не прибегаем на дачу, где нас, конечно же, не ждут, только отчаянно всплескивают руками и помогают ему снять порванную рубаху, под которой я вижу его кровь и еще чью-то.

В потемках

— Что?!

В темноте что-то рухнуло. Он стоит посреди комнаты и смотрит невидящими глазами. Такое с ним впервые, есть надежда, что это он со сна.

— Тебе что-то приснилось?

Он дрожит, озирается то на луну, то на лампу.

— Тебе что-то приснилось?

Он делает движение, должно что-то объяснить и вернуть в прежнее состояние, но почему-то не получается. Кто его напугал? Начинаю искать и не нахожу.

— Что тебя напугало?

— Сядь рядом, — просит он. И я сажусь.

— Я тебя разбудил? — спрашивает он.

— Ничего.

— Нет, я тебя разбудил, мне, наверное, что-то приснилось. Мне никогда ничего не снится. Когда ты улетаешь?

— Не скоро, папа.

— Это хорошо, — говорит он. — Спасибо тебе.

И целует мою руку.

Это так неожиданно неловко, что я отвечаю тем же. Мы сидим на даче посреди веранды и целуем друг другу руки.

— Ладно, спи. Тебе надо поспать, ты устал.

— Мне уже надоело отдыхать, папа.

— Ты должен хорошо отдохнуть у меня, — говорит он. — На всю жизнь. Чтобы я был спокоен. Ложись.

И мы ложимся. Я гашу свет, но еще долго не сплю, прислушиваясь к его дыханию. Он засыпает сразу, а я долго еще не сплю, до самого рассвета, а я еще долго лежу даже после его ухода, а я еще долго лежу с открытыми глазами и боюсь встать, чтобы не огорчить его.

Болезнь

— Да, он стал гораздо хуже.
— А? — растерянно. И вертит головой.
— Хуже? Он просто ничего не понимает. Один Бог знает, как я с ним измучилась за это время.

— А? — хочет что-то сказать, но не получается. И вертит головой.
— Ничего, ничего, пока он будет в больнице, вы отдохнете.
— Я за ним каждый вечер кал выносила!

Плачет, а потом кричит на него: "Что ты смотришь, что ты смотришь, старый дурень?".

— А? — совсем уже растерянно не то им, не то ей.
— Не надо на него кричать, не волнуйте его. Видите, он волнуется. Сейчас, мой дорогой, мы пойдем с вами вниз...

— А?
— Посидим на скамейке, приедет машина, и мы поедем в больницу, вас должны посмотреть врачи, хорошие врачи.

— А?
— Зачем вы ему объясняете? Видите, он совсем ничего не понимает.
— Ничего, ничего.

Перед тем как выйти из комнаты, попытался ухватиться за дверной косяк, но его слегка подтолкнули сзади.

— Ничего, ничего.

И только внизу на скамейке, когда один из провожающих сказал: "Потерпите, скоро сын ваш приедет", — он повернул голову и внятно спросил:

— Когда?

Призрак

Отец наш Шекспир с чемоданом, и все с тех пор у меня с чемоданами. И совсем не страшно. Да, да, совсем не страшно. Я опоздал из Геттингена.

"У-у-у", — завывает ветер, и где-то на крыше мы оба, высоко, срывае-мые ураганным ветром. Только он еще почему-то с чемоданом, а я нет.

Ветер свирепый, слов не слышно, да и не умеет он говорить стихами, вообще не умеет говорить. Так что перевод не нужен. Он только хочет сказать, но не умеет и улыбается застенчиво.

Что он таскает в этом проклятом чемодане, у него никогда ничего своего не было, откуда взялся этот чемодан?

Я протягиваю руку, ветер отбрасывает меня к самому краю. Но он не помогает мне подняться, он улыбается и думает: "Он так играет". Обо мне. Это он привык думать так обо мне.

И ни одной звезды на небе, как сказал бы старик наш Шекспир, если бы умел говорить. Но он сидит на чемодане, маленький, лысый, чем-то ужасно довольный, и вытирает лысину платком, совсем не страшный, такой же.

Ночь. Мрак. Молнии драконят небо. Аплодисменты.

Без названия

Я, как ныряльщик, набрал воздуха — и на дно, вынырнул уже, а дышать боюсь. Такая натура.

— Что ты там видел? — спрашивают меня. А как ответишь с закрытым ртом? А если бы даже и открыли, ничего не скажу. Под пыткой. Потому что я такое видел, такое...

Ах, мои славные, зачем вам оно? Вещественности никакой, подтвердить не сумею. И не стану. Это моя жизнь. Блеск помню и звучание. Не музыку, а звучание. Ласковое и дерзкое. А больше ничего. Ни одного лица. Если только отцовское. Да и то в профиль. Это я вам уже слишком много рассказал. А больше там ничего нет. Даже течения.

Одно беспокойство — не поджидает ли там меня кто? А если поджидает, почему я его не вижу? Почему не удерживает оно меня поговорить? Ведь там поговорить не с кем! И я к нему, одинокому, спускаюсь и спускаюсь. О Господи, Боже мой, живи долго! Господи, переживи нас всех.

